**С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк Вэпэвэрзэ, по-человечески — парк вагонно-паровозного депо, насаженный в тридцатых годах и погубленный в пятидесятых. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли.**

**Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной и по верху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали.Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины — тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду — развесистая полынь, жизнерадостные лопух и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивало кривоствольными черемухами, две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла, и, отпрянув сажен на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло — елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка Вэпэвэрзэ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянугься. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак.Но человеку без природы существовать невозможно, животные возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут, и коли ближней природой был парк Вэпэвэрзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под луной фольга, трепыхалось рванье целлофана; иногда проносило аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину: испустившего резиновый дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра.Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке Вэпэвэрзэ и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты**

**. Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном** журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря — сдуру, наложивших на себя руки.

**Борис Екимов «Ночь исцеления»**

Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. . И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко – хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкою вечером возвращалась к дому. причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. … Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, кого-то убеждает, просит а потом закричит: «Люди добрые! Спасите!!» Конечно, все просыпаются – и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: «Простите Христа ради! Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче.И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, Но вот внучек Гриша, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на Октябрьские праздники да Майские. Баба Дуня радовалась. с Гришиным приездом она про хвори забыла. – Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди. Я, бабаня, ничегоне слышу. Сплю мертвым сном.Но среди ночи Гриша проснулся от крика:– Помогите! Помогите, люди добрые!! Карточки потеряла! Ребятишки… Петяня, Шурик, Таечка… Домой приду, они исть попросят…. А мамушка ихняя… – Люди добрые! Не дайте помереть! Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.– Бабаня! – позвал он. –Проснись…Она проснулась, заворочалась: чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка,– это отец.– Зима находит… Желудков запастись… Ребятишкам, – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и желудками обойдемся. Не отымайте, Христа ради… Не отымайте! – закричала она. – Хучь мешки отдайте! Мешки! – И рыдания оборвали крик.Гриша вскочил с постели.– Бабаня… – охнул Гриша. – Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон. Ведь сон – неправда. – Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы. А лесники на пароме отнимают. не положено. И мешки не отдают.– А зачем тебе желуди?– Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели. Мать посоветовала: – Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.По пути домой стало думаться о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки – нет. Но как помочь.Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – топнуть. Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:– Вот ваши карточки, бабаня… В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите,– настойчиво повторял он. – Все целые, берите…Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек…По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.– Не надо плакать,– громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать,– говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите.– Документ есть, есть документ… вот он… – дрожащим голосом говорила она. – К мужу в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.– Конечно, пустим. Проходите. Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.– Правильный… – облегченно вздохнула баба Дуня. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе… Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо понял – ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.